

МОМЕНТ ИСТИНЫ

Список литераторов, прибывших из России с алией 70-х — прозаиков, поэтов, драматургов, эссеистов, критиков, переводчиков — уже давно перевалил за пятьдесят. Речь идет не только о тех, кто является членом Союза писателей, пишущих на русском языке, союза, входящего в состав Всеизраильской федерации писателей.

Задаться целью в небольшой статье (а не в основательном исследовании) перечислить на манер "поминальника" всех писателей, процитировать из каждого понемногу, слегка, пунктирно определить стиль и манеру — задача неблагодарная, которая, увы, не удавалась даже таким столпам, как, положим, Сент-Бев или Белинский. Звучные заглавия типа "Литературные мечтания" не высекали нужной искры контакта с читателем и очень скоро становились окаменелостями, которые, подобно палеонтологам, изучали лишь литературоведы и историки литературы.

Мы не собираемся говорить о соразмерности того, что творили тогда или создают сейчас, однако мы можем говорить о живом литературном процессе, происходящем на наших глазах, и в этом процессе настолько отчетливо ощущаются "силовые линии", по которым распределяется творчество тех или иных писателей, общее и отличительное, что сами эти силовые линии отменяют метод "поминальника".

Начнем с общего. Вступление всех участников в этот литературный процесс отмечено стрессовой ситуацией. Всем им, воспринимающим окружающий мир образными, ассоциативными категориями, уже само место будущей жизни, закрепленное именами — Израиль, Иерусалим, Иерихон, Бейт-Эль — мерещится чем-то мифическим, духовной обителью.

даже если они реально понимают, что каждодневное существование, быт, суета существуют везде и, к сожалению, к ним ты привязан каждой минутой жизни. Отсюда проистекают такие неясные, размытые прогнозы на будущее. Но с другой стороны никогда более остро они уже не почувствуют разрыв с той жизнью, культурой, в которой росли и самовоспитывались, — и потому эта тема разрыва с прошлым обостряется до болезненного и неисчерпаемого внимания к каждой детали прошлого, которое ускользает из рук, как песок. Прошлое углубляется, внутренне обогащается самим чувством его потери, причем безвозвратной. Иллюзорное будущее, которое усиливалось урывками прочитанной Библии, мировой литературой, живописью и музыкой, превращается в ежедневную реальность, динамичность и внутреннее богатство которой едва угадываются за незнакомым языком.

Налицо — "надрыв", выражаясь категорией Достоевского. С точки зрения вечных целей литературы такая исключительная ситуация — залог создания долговечных произведений. Правда, дело это — не одного года и даже не десятилетия. Правда, это сопряжено с внутренним разладом, драмами и трагедиями духа, отвержением всего, что вокруг, или, наоборот, неумеренным восхищением, тоже говорящим о некоем скрытом комплексе неполноценности. Но уже, принимая во внимание эти весьма значительные частности, можно говорить о данном литературном процессе как о явлении незаурядном.

Короче говоря: участники этого литературного процесса — евреи Диаспоры, причем необычной — российской, живущие в Израиле, и, как писал автор этих строк в первой своей публикации здесь, вернувшись из Старого Иерусалима в свой центр абсорбции: "...Только еврею галута дано еще ощутить раскалывающую сущность двух летоисчислений, приходящих-ся на его и так недлинную человеческую жизнь — "до" и "после".

И еще следует отметить общее для всех участников процесса — повышенную субъективность. Не исключая и автора этих строк.

Перейдем к частностям. Одна из особенностей проистекает из географического, а отсюда и исторического распределения

мест жительства тех или иных участников процесса. В среднем приближении — это центр России, Москва, Ленинград, где даже ослабленные, видоизмененные традиции еврейства, элементы еврейской культуры почти отсутствовали, и районы, прилегающие к западной границе СССР — Прибалтика, с. Вильно, где еще в тридцатые годы издавались книги, журналы на иврит и идиш, Бессарабия, в какой-то степени Одесса, где, несмотря на тщательное выкорчевывание, еще не выветрился дух Бялика, Жаботинского, Ахад га-Ама. Ни в каком случае я не собираюсь эту частность поставить кому-то в плюс, а кому-то в минус, ибо в каждом случае она представляет в высшей степени своеобразное явление, интересную трансформацию того, что французские дилетанты школы Ренана называли "еврейским духом". Даже тот, кто во всеоружии логики и фактов отвергает этот "дух" и все связанное с ним, обнаруживает скрытую если не "тягу", то "смертельное любопытство" к нему.

Главная тема, которая объединяет всех участников данного литературного процесса и которая является их судьбой, бедой и находкой — тема преодоления внутреннего разлада, разрыва, наконец кризиса (или "надрыва" по Достоевскому).

"Поэзия, право же, — работа по освоению мира..." — писал в предисловии к сборнику стихов Бориса Камянова "Птица-правда" (Иерусалим, 1977) рано умерший талантливый критик и литературовед Анатолий Якобсон. Думаю, что эта радостная и непростая работа по "освоению" ждет нас всех, но пока нас ждет гораздо более тяжкая, усугубленная трехтысячелетними обстоятельствами работа по "преодолению себя".

Так вот, любопытен один элемент, или, быть может, "способ преодоления" писателей, в силу жизненных, географических обстоятельств, исторических событий сохранивших через своих отцов или бабушек некое подобие связи с еврейством, несмотря на то, что никто из них на иврит или идиш не пишет.

Ицхак Мерас пишет по-литовски, Эли Люксембург и автор этих строк (тоже из Бессарабии) — по-русски. Ицхак Мерас приехал в Израиль, будучи широко известным в России автором двух романов "На чем держится мир" и "Ничья длится

мгновение" (первый косвенно относится к еврейской теме, второй — напрямую говорит о трагедии еврейского гетто); Эли Люксембург привез написанное, дописывал здесь, опубликовал две повести "Зеев Паз" и "Третий Храм" (последняя переведена на иврит) и готовит к печати, вероятнее всего, роман под условным названием "Пленники долгой ночи"; автор этих строк опубликовал книгу стихов "Руах" (целиком вывезенную из России) и работает над романом "Лестница Иакова". Ицхак Мерас написал новый роман, рассказы, издан во многих странах.

Интересно, что, не зная друг друга, они нащупывают сходный способ преодоления внутреннего разрыва — через сложную варьируемую тему "двойничества".

Тема "двойничества" не нова, она прослеживается у многих русских и западных писателей. Особенно исчерпывающе пытался ее решить Достоевский в повести — "Двойник". И в основном это — тема преодоления нищенской и смертельно скудной однозначности жизни, попытка властвовать над обстоятельствами, жажда слить идеальное с реальным, взглянуть на себя и на жизнь со стороны, наконец таким образом утоляемая жажда "справедливости", в некоторой степени сложное развитие архетипа детского сознания: каждый ребенок видит себя властителем, принцем, разбойником, боющимся за справедливость и т. д.

Но в данном случае тема "двойничества" — способ преодолеть внутренний разрыв, ведь каждый из нас с той или иной степенью сложности и прихотливости вмещает в себе как бы два существа — то, оставшееся в прошлом, и то, что существует сегодня. И там было то же: мы ощущали присутствие двойника, составленного из бабушкиных сказок о "бесамигдаш", смешных песенок на идиш, заставляющих учащенно дышать, ибо комок подкатывался к горлу, наконец у него и имя-то было другое. Например, двойник героя Эли Люксембурга, "чемпиона по боксу и филолога по образованию", Владимира Гольдмана — это Зеев Паз. Кажется, перемена имени — простая фикция. Нет, за ней иная судьба, новая жизнь. У Ицхака Мераса еще более сложно решается "двойничество". Его двойники и не знают друг друга, разделены судьбами и возрастом: Хаим По-

кот (рассказ "Высокий седьмой этаж", журнал "Сион", № 19),
пятидесяти пяти лет, только девять месяцев назад прибывший
в "собственную страну", и Хаим Покот, младший полицейский
инспектор, в участке недалеко от Яффского рынка предвку
шающий собственную свадьбу, которая состоится вечером. Все
в этом рассказе построено на иллюзии и жесткой реальности,
так изживают в себе депрессию, так находят "связи", которые
с любых точек здравого смысла просто и существовать не мо
гут, так, наконец, находят себя в новой жизни. Путем целого
ряда отстранений, и превращений, и прививок, духовных ли,
физических — в бедро, которые ощущает герой другого рас
сказа Мераса "Полчаса в незнакомом доме" (журнал "Время
и мы", № 12), он пытается добраться до самого себя. И тогда
первые атрибуты новой родины — угол "двух улиц — Цветной
и Пророка Ионы" (в первом рассказе) и всего одна строка на
весь рассказ "Полчаса в незнакомом доме", определяющая
место события, "...Над Иудейскими горами выступал край
красного солнца" — становятся емкими и значительными ве
хами, изначальным материалом для того, чтобы строить себя
наново.

Каждый раз тема "двойничества" находит себе иное выраже
ние. Герой романа Люксембурга (глава из него "Брахия Калан
Дар" опубликована в журнале "22", № 7) Иешуа, который с
группой евреев шел пещерами через множество стран в Иеру
салим из Бухары, приходит в себя в одной из иерусалимских
больниц, где старик Калан-Дар, разыскивающий сына, убитого
в Войну Судного дня на Голанах, принимает его за сына, тем
более что все совпадает: облик, имя, фамилия.

"...Послушайте, дядя, зачем вы так изощряетесь? Хотите
втиснуть меня в свое заблуждение?.. Я бы с удовольствием
заделался вашим сыном, лучшей судьбы и не придумаешь...
Но это не входит в мои планы. Шутка ли, — пройти пещерами
из Бухары в Иерусалим по пергаменту "Мутана", словно из
сказок Синдбада! Это же фантастика, чудо..."

Думаю, отъезд, разрыв с Россией, вращение в Израиль —
для каждого не меньшая "фантастика, чудо". И никто не хо
чет и не имеет права отказаться от той, отрезанной только фи
зически, части жизни. Только благодаря ее осмыслению можно

понять, наконец, жить и творить в новой, сегодняшней жизни. Мы не "рассчитываемся с прошлым", чтобы начать "чистую страницу". Прошлое необходимо и важным элементом входит в новое, и только так новое осмысливается.

Двойник героя романа "Лестница Иакова" автор этих строк доктор Иммануил Кардин едет в троллейбусе по Московской — башню. Но никогда до нее не доехать, потому что — Вавилонская... А сам герой в Иерусалиме одержим идеей найти место, где Иакову явилась лестница с неба: "...Есть две постройки: Вавилонская башня и Лестница Иакова. Первую Бог разрушил, вторую — сам сотворил..."

Двойничество означает не раздвоение личности, а преодоление его.

Может быть, ощущаемая с детства причастность к еврейству через песни, рассказы, нечастые посещения синагоги в дни Судного дня с бабкой, интерес к редкой и потому жадно, наизусть со взгляда запоминаемой информации о судьбе, истории твоего народа и одновременно жизнь в реальности со школой, друзьями, делами позволяют уживаться в тебе двум разным существам.

В радикальном случае, какой мы имеем в "монологическом" романе Давида Маркиша "Присказка" (издание библиотеки "Алия"), мальчик Симон Ашкенази, сын репрессированного поэта Переца Ашкенази, проявляет цельность с детства. Романтическая тяга к Израилю наполняет реальностью обычные в такие годы мечтательные порывы любого юного существа. И это не просто обычная потребность юной души (ее привычный атрибут, как поголовное сочинение стихов в эти годы), а выстрадавшая непомерными для таких лет лишениями и унижениями уверенность в своем будущем времени и месте жизни. Но рядом с Симоном, главным героем повествования, опять любопытный некий "физический" феномен "двойничества". Старик Веня, старый еврей, поразительно похожий на Сталина, "отца народов", "гуталинщика", которого берут на "работу в двойники", заменять "кормчего", и который сам отказывается от этой непосильной для него роли, за что его сажают, а затем высылают на поселение, где он и встречается с Симоном, —

интересный повод для размышления о "модификациях" двойничества. Трудно себе представить другой случай невыносимого напряжения души еврея со всем тысячелетним грузом унижений, стремления к справедливости, веры в конечную человеческую справедливость, вынужденной играть роль "палача народов", которому обезумевшие от психоза раболепства люди протягивают детей на параде. Последнего-то он и не может выдержать, как и разлуки с мальчиком Симоном, в дружбе с которым видит смысл своих бессмысленных проживаемых лет. Он лишает сам себя жизни. Но продолжает жить в памяти Симона, который потом закрепит эту память, в повествовании. У других же это "двойничество" души становится привычным состоянием, в терминах современной социальной психологии, состоянием "маргинального" человека. Как прием в литературе этот феномен — форма преодоления кризиса. Но я не хочу сказать, что это глубже, чем с такой силой обозначающийся разрыв по живому в произведениях писателей, приехавших из глубины России, как в, на мой взгляд, одной из лучших прозаических книг алии — 70-х "Уходим из России" (библиотека "Алия") Юлии Шмуклер, где герой одного из рассказов, преодолевший все изощренные тяготы отъезда, бросивший любимую женщину, так неожиданно вошедшую в его жизнь, в какой-то миг у обочины шоссе в Израиле испытывает такую опустошенность, что впору броситься под колеса летящих мимо автомашин. Мы рассчитываемся с прошлым, имеющим склонность к самоприкрашиванию, отбрасывая его ханжескую поверхность и обнажая всю неприглядную бессмысленность и жестокость самого обычного быта, как в романе Нины Воронель "Содом тех лет" (отрывки опубликованы в журнале "22", № 4), открываем читателю остров странной, ущербной, но все же "еврейской" жизни в Биробиджане в интересной повести Якова Цигельмана "Похороны Моше Дорфера". Феномен этого "расчета с прошлым" интересен тем, что почти все эти произведения написаны здесь или, во всяком случае, отобраны для публикации здесь, что дает дополнительный элемент в самохарактеристике автора. У каждого свой стиль, от скорморешески-прибауточного стиля "Зоны отдыха" Феликса Канделя, за которым скрытая печаль "идиотизма русской

жизни", увиденная опять, в который раз евреем, — до полных, еще не раскрытых предчувствий и пророчеств "Снов о Подоле" Майи Каганской ("Сион", № 21). Подол, далекая от Иерусалима еврейская земля, ее живой клочок, впрямую связанный с мертвым — Бабьим Яром, его продолжение, опять же — на, долины Последнего Суда. И не подобна ли "слепота и беспомощность" жизни Подола "слепоте" Вяя, этой странной, мстительной модификации Вечного Жида в сознании Гоголя, с такой жестокой веселостью и бесшабашностью потешавшего над жидом Янкелем в "Тарасе Бульбе"? Может, только эта "слепота" и позволяет жить, не погибая под тяжестью памяти, подобной незаживающей ране, хранить ее до Последнего Суда?

"...Корите бескультурьем и бездуховностью, клеймите местечковостью... Пусть. А я свято верю, что на Последнем Суде та слепая, беспомысленная жизнь будет просветлена и оправдана, а "верхнее" еврейство с его книгами, библиотеками, двуликими идолами культуры, науки и мировой справедливости понесет то наказание, которое мы заслужили. Отцовскую усмешку при взгляде на наши игры, нахмуренные лбы, натруженные мозги, интеллектуальные усилия и духовные притязания.

Подол поднимется, а мы опустимся далеко, глубоко, на самое дно этой усмешки. Ибо Подол живет в истине — истине страха и смерти. Когда-то в еврейских местечках, прежде чем сесть на лавку, табуретку или кровать, осторожно отодвигали пустое пространство над ними, как бы предупреждая обитающую в доме душу умершего близкого, возможно сейчас на ней сидящую, что ей надо потесниться.

Подол живет, раздвигая наполняющие его тени мертвых. Если в ночь Йом-Кипур (а Йом-Кипур для Киева — это Бабий Яр) горят поминальные свечи — они горят только на Подоле, превращая злую, мутную подольскую ночь в далекую затертую копию Иерусалима...".

Рядом с книгой стихов Михаила Генделева "Въезд в Иерусалим" ("трагедийная мистерия" — выражение, часто употребляемое Генделевым по отношению к произведениям других

авторов, очевидно можно применить и к его собственной книге) стоят обнаженно-бытовые, намеренно эпатажные читателя (а быть может, и самого автора) стихи Бориса Камянова (книга "Птица-правда").

...Евреи человечества, мы миф —
мы снежная поземка или мы,
мы соль небес — рассеяны в миру,
мы маним, мы зовем, но только труп
в холодном поле ложью не грешит —
и такова Диаспора души...

"Диаспора" (поэма)
(М. Генделев, "Сион", № 20)

Среди стихотворений Камянова, подчас неряшливых, в той или иной степени совершенных или несовершенных, есть одно небольшое, в три строфы, но в нем удивительно сплетены прошлое, которое не исчезло, и настоящее...

Какая это сладкая тоска:

Вернув себе прадедовское имя,
Гореть в костре родного языка,
Потрескивать глаголами сухими!
Оставив там, за тридевять земель,
Полжизни и разбитое корыто, —
Какое счастье слово "Израэль"
Произносить свободно и открыто!
Я выучу иврит, как "дважды два",
Но никогда мне не забыть такие
Совершенно простые русские слова:

- Дочурка.
- Мама.
- Бедная Россия.

Но о чем бы ни писали, везде чувство, что мы — здесь, в Израиле, живем, спорим, осознаем себя в языке, быте, именах, истории.

В душном вечере сухом
Строчка ранит и живит.
Виноградом и стихом
Дышит древний алфавит.
Плавных гласных пленный дух

Там таится взаперти, —
Тем отраднее их вслух
В полный вздох произнести... ("Сион", № 28) —
пишет Лия Владимирова, с завидным упорством работающая
все эти годы и выпустившая несколько книг стихов. В ее
освежающих пастернаковским духом поэтических текстах так
свежо и насыщенно звучат имена новых мест — "Кармель",
"Натания"...

Как зачарованная живет Хагит Гиора в, казалось бы, стисну-
том пространстве иерусалимских улиц, в какой-то сложной
многомерности, где обнаружишь за тремя измерениями еще
и библейское, и агноновское, и булгаковское...

"...Бродить по Ерушалаиму, особенно по юго-восточным
его районам, особенно первые два-три года как вынырнул
из мира тех странных измерений, что по т у сторону, — бро-
дить по Ерушалаиму — головокружение. Все зыбко. Повсюду
на тебя фаюмские очи, а горизонта нет — просто гаснут в небе
линии холмов; границы растворены, и потому не кончается
Ерушалаим" ("Суббота в Баке", "Сион", № 28).

Так, рассчитываясь с прошлым, мы входим в настоящее
и, находя себя в настоящем, оглядываемся на прошлое.

В сложном, мучительном, а потому и живом процессе осо-
бенно отчетливо обнаруживается, что любой жанр, избранный
пишущим, это попытка осознать себя, свои корни, наконец
свое подсознание, которое проявляет себя вопреки тому,
что пишешь, и тогда вся словесная упаковка, уже называемая
"собранием сочинений" мельком обнажает изнывшую душу
творца, его главное тщательно скрываемое желание быть
услышанным теми, кто по родству крови, не "текущей в
жилах, а вытекающей из жил" (выражение Юлиана Тувима),
должен это услышать.

В работе о творчестве Павла Антокольского ("Возвращение
к себе", "Сион", № 31) Михаил Вайнштейн пытается увидеть те
прорвавшиеся "в момент истины" искры, связывающие поэта
с корневым, прорвавшиеся лишь на миг из-под долголетнего
творчества...

Очнись, дитя библейского народа!
Газ или пытка, иль глоток свинца, —

Встань, юная! В делах такого рода,
В такой любви не может быть конца...
Я для свиданья нашего построил
Висячие над вечностью мосты.
Все мирозданье слышит:
— Шма, Исроэль!
И пышет алым пламенем.
А ты?..

“В начале 70-х годов были изданы четыре Собрания сочинений П. Антокольского. Многие “еврейские строки” были изменены, отредактированы, — пишет Вайнштейн. — Было ли это “своеволием” или даже “насилием” издательских редакторов или цензуры? Или заговорил “внутренний редактор”... Вместо точного эпитета “дитя библейского народа” — теперь уклончивое “дитя сожженного народа”... искорежена заключительная, итоговая не только для данного стихотворения, для данного цикла, но, верится, для всего творчества П. Антокольского, строфа — из нее вовсе исчез “библейский клич” поэта “Шма, Исроэль!”... И все же мы помним и путь поэта, и его пронзительные обретения. И пепел поздних слов уже никогда не приглушит и не скроет от нас горения его сердца, в минуту скорби и прозрения искавшего опоры в своем народе и его вековой судьбе...”

Момент истины — вот главный и не зависящий от нас источник, открывшийся в эти годы перелома. Кто слишком рьяно стремится к нему, кто столь же рьяно хочет сбежать, укрыться от его обжигающего света. Но весь описываемый литературный процесс, как мгновенная вспышка магния, освещает положение каждого из нас по отношению к этому источнику.

Пусть нас опять, в который раз обвинят в провинциальном комплексе “еврейской избранности” ... (подумать только, Маркс — еврей, Эйнштейн — еврей, Христос, Винер, Чаплин... Чаплин? Ну, это вы хватили...), по учению великого еврея Фрейда, основы личности закладываются в детстве, и потому еще ничего не означает, что другой великий еврей Осип Мандельштам бежал из еврейского быта.

“...Нерасщепляемое ядро европейских мечтаний Мандельштама, его “тоски по мировой культуре” — это некая надкуль-

турная целостность, которой сокровенную суть всего глубже и полней можно постигнуть с помощью одной "виноградной строчки" иврит, семантической связи внутри грозди ивритских слов: земля-человек-кровь-красный (адама-адам-дам-адам).

Эта иудейская грамматика бытия и есть тот целокупный образ изначально одухотворенного, замысленного и осмысленного мира, тот внутренний музыкальный формообразующий поток, который "выжал" из себя мандельштамовское слово об Армении, "стране субботней", "младшей сестре земли иудейской"...

Так пишет Майя Каганская ("Осип Мандельштам — поэт иудейский", "Сион", № 20) о времени, поэте, себе и нас:

"...Через несколько лет в "буддийской Москве", отшатнувшись от стихов "Мы живем, под собою не чуя страны...", Пастернак в ужасе вопрошал: "Как мог он написать эти стихи — ведь он еврей" (Н. Я. Мандельштам, "Воспоминания", кн. 1).

Когда-нибудь я расскажу, почему именно еврей должен был написать эти стихи и почему один еврей — Пастернак — не мог их написать, а другой еврей — Мандельштам — смог.

А поскольку поэтический гений есть сжатая до пределов одной личности историческая и духовная судьба нации, это будет рассказ не о том, почему рожденный евреем обязан им быть, но о том, почему он не может им не быть..."

Цитата есть цикада (О. Мандельштам, "Разговор о Данте"). В авторский контекст она входит полноправным художественным элементом, увиденным под углом авторской позиции. Она убедительней и емче комментария. Хотя бы потому, что в ней ощутима энергия и углубленность двух авторских сознаний — автора цитаты и автора, ее использующего.

Возразят: а гигантские комментарии к Танаху Раши, Тал-муд, Таания.

Отвечу: не комментарии это, а возникшие "по поводу" совершенно самостоятельные великие творения Духа.

В конечном счете разве то, что мы творим в Духе — не комментарий к Жизни, Быту, Истории, Судьбе, Богу?

Все — что под знаком "минут роковых" — остается. А раз-

ве — перелом, обозначивший обсуждаемый процесс — не "минуты роковые"?

"...Я давно уже заметил, что в "минуты роковые" мозг погружается в трясину полубреда, всякий жест, слово, решение несут отчетливые признаки полуавтоматизма. Я объясняю это тем, что обостренные, взвинченные до предела разноречивые эмоции и мысли, подавленные и оттесненные главной установкой, все же не смиряются и продолжают вопить о своих правах — отмахиваешься от них и продолжаешь идти напролом, куда наметил и надо, вроде бы без оглядки, на самом же деле едва успеваешь отбиваться от внутренних наскоков, весь погруженный в схватку с загнанными в подвал голосами, и потому шагаешь полуслепо, деревянно, забыв, как гнуть в колене ногу, словно на ходулях...".

Это цитата из "Хэппи энд" Эдуарда Кузнецова ("Сион", № 29), произведения которого ("Дневники", "22", № 5-6, рассказ "Левитация", "22", № 10, "Мордовский марафон") резко повысили престижность всего литературного процесса, о котором идет речь. В высшей степени необычная судьба и незаурядный литературный талант предстали в этих произведениях, в которых не просто идет расчет с прошлым, а подводится итог целой жизненной программы, четко усвоенной с юношеских лет и реализуемой с потрясшей весь мир стойкостью.

Речь идет о крайней "пограничной ситуации" — внезапном выходе на свободу из долгих подземных лет.

"...Спустя несколько дней, уже в Тель-Авиве, я отказывался верить сам себе, оглядываясь назад. Настолько несовместимы две эти реальности — свобода и тюрьма — что разом сосуществовать в сознании они не могут...".

Но все мы — из "большой зоны", все мы переходим в этот период "пограничную" линию не только буквально, но и в себе самом. Так обнаруживаются внутренние закономерности описываемого процесса. В нас, все же не оказавшихся в крайней кризисной ситуации, сосуществуют, противоборствуя в сознании, эти две "несовместимые реальности", "до предела разноречивые эмоции и мысли" вопят в нас, но при этом нет "главствующей установки". Это осложняет процесс самовыражения,

но и дает ему большую глубину, а порой и парадоксальность. Но никто из нас не страдает выпадением памяти. И расчет с прошлым у каждого по-разному — очищение, преодоление, трагедия, но всегда — связь времен, которая "не порвалась". Не скрыто ли это в генах "иудейства" в противовес "гамлетовским"?

Вероятно так же, мы не можем начинать новую жизнь, как Сакья Муни, в будущем Будда, оставивший старую жизнь, как одежду на берегу реки. Родившись в России, мы, вероятно, ведем родословную от толстовского Протасова, который оставил жизнь, как одежду на берегу, но снова вернулся в эту жизнь.

Естественно, такой сложный и болезненный процесс должен вызвать дискуссии, и наряду с произведениями, пытающимися с разной степенью "оптимизма", подчас даже "розового", осмыслить наш новый рост и существование, появляются и свои "Записки из подполья". Опять же не собираюсь сравнивать литературный уровень и силу последующего влияния произведений.

В любом литературном процессе были группы, яростно отрицающие за другими не только право творить, как те хотят, но даже самую способность творить. Однако в истории все остаются рядом — вот что я имею в виду, говоря о едином литературном процессе, который возрос и реализовался, да и реализуется на земле Израиля и уже неотрывно принадлежит ей. И в этом процессе равно достойное место — тем, кто с трудом, муками и отвержением вращается в новую жизнь и кто в силу тех или иных обстоятельств сразу находит свои пусть еще слабые, но корни. И потому мне понятны слова Давида Дара, известного в России писателя и публициста, который уже несколько лет живет в Иерусалиме, слова его о стихах Александра Воловика, приехавшего, между прочим, из Свердловска, самых что ни на есть русских глубин:

"...Особенно близки мне эти стихи потому, что поэт, как и я, недавно приехал из России и в его творчестве я нахожу сложные, противоречивые, трудные и радостные переживания русского еврея, обретшего свое еврейство, свою родину, свою землю, свое небо... В отличие от многих других русскоязычных

авторов Воловика, как и меня, нисколько не мучает ностальгия... Он доверчиво и доброжелательно погружается в неведомый ему прежде мир, не скрывая от читателей ни того, что удивляет его, ни того, что мучает..."

Пейзажи Негева подобны лунным —
желтые и серые горы переливаются друг в друга,
прозрачное, светлое небо
беспрепятственно,
словно космическую пыль,
пропускает солнечные лучи.
И солнце взрывается на каждом пустынном склоне.
О, Нейл Армстронг!
Я помню твои первые шаги на лунной почве.
Они были неуверенными, эти шаги.
И все же это была поступь эпохи!

(“Вечером, ночью, утром”, “Сион”, № 29)

В полных сомнений, колебаний, излишней уверенности и не менее излишнего отрицания шагах литературной алии-70-х, быть может, — поступь поколения русских евреев, совершивших героическое действие, сегодня отмечающее свой десятилетний юбилей.

Литературная работа писателей Израиля, пишущих на русском, становится емким, интересным, поучительным процессом, она уже обретает черты феномена, еще одного в нашей столь длительной, но, к удивлению мира, ни в одном звене не утомительной истории.

Давно уже существует необходимость, чтобы читатели на иврит могли ознакомиться с этим процессом.

Публицист Наталия Рубинштейн писала:

“...Можно утверждать с большой долей уверенности, что масса читателей “Маарива” впервые услышала о существовании в Израиле серьезной русскоязычной литературы. Эта масса читателей удивилась бы еще больше, узнав, как много сделано “русскими” изданиями, несмотря на сравнительно небольшой круг их читателей и покупателей, нищенский бюджет и мизерную финансовую поддержку, для того чтобы перекинуть мост от современной израильской культуры к читателю-интеллекту, чей родной язык русский...” (“22”, № 6)

Речь идет о значительном количестве переводов лучших израильских писателей в русских изданиях, что также является частью описываемого нами процесса.

А мы бы хотели выразить в заключение надежду, что мост этот будет открыт для движения в обе стороны.